

БИБЛИОТЕКА

ISSN 0132-2095

ОГОНЁК

МОСКВА



№ 30 1991

*Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ*

РОССИЯ  
POESIA



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 30

Издается с января 1925 года

Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ

РОССИЯ  
POESIA

Москва. 1991

## *Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ*

*Поэт Андрей Вознесенский родился в Москве в 1933 г. Окончил Московский архитектурный институт. Много занимался живописью. Автор книг стихов и прозы: «Мозаика», «Треугольная груша», «Антимиры», «Проробы духа», «Аксиома самоиска» и др. В 1984 г. вышло 3-томное собрание сочинений поэта. Почетный член Нью-Йоркской академии литературы и искусств, Гонимой академии, Французской академии поэтов им. Маларме, Баварской академии искусств. В 1990 году избран в Европейскую Академию. Член Совета учредителей Советского фонда культуры. Произведения А. Вознесенского переведены на многие языки мира.*

## РАСПЯТИЕ

В минуту сегодняшней скверны —  
не плоскость с двухмерных холстов —  
явился мне многомерный  
Христос.  
Шли муки, подобно мосту,  
перпендикулярно кресту.

Распинали Его не в одной плоскости, тело Его было раздираемо во все стороны, как стрелки указателя на перекрестке дорог или крестовина, в которую вставляют рождественскую елку, ибо так Его видели с неба.

И мук этих верный вектор,  
сменив плоскостное бревно,  
На Юг, Восток, Запад и Север  
растягивали Его.

Мужчины, и бабы, и леди,  
Сменяющаяся толпа,  
второе тысячелетье  
Мы тянем Его на себя.

И, как медицинские банки  
иль тянет рогатку дитя,  
вытягивались лопатки.  
Мы тянем Его на себя.  
Тянули Его вертолеты,  
крюком за губу зацепя,  
суда, уходящие в море,  
тянули Его на себя,  
и рокер в пыльце желторотый,  
и баба, от мужа уйдя.

Ступни Его вдовы доили,  
Впивалась в раскаянье бля,  
Тянула ладонь экстрасенса,  
Покойники в автомобиле  
тянули Его на себя.

Будучи в состоянии шока, я не понимал смысла виденного, да и вряд ли запомнил все, мне было дано увидеть Его с точки зрения неба,— но почему именно сейчас? — пронеслось в мозгу, когда распятие отвернулось от меня темным силуэтом, я увидел за ним толпу, вернее, лишь глаза, глядящие в упор, и в каждом зрачке впечаталось по маленькому эмалевому кресту вверх ногами, ибо каждый распинал Его в собственных зрачках, тысячи маленьких Спасителей глядели на меня.

И крест, разогнувшийся тайно  
из молота и серпа,  
голодной страны испытанья,  
прервав Иоганна Себа-  
стиана, гудят окаянно  
бастующие таксисты  
товарищу отпеванье.  
И крови ждут ястреба.  
Толпа, депутаты, путаны,  
все тянут Его на себя.

Кто любит — сильнее тянули,  
кто продал — тянули вдвойне,  
тянули, кто в жизни тонули,  
тянул, кто давно на дне.

Но главное — втягивал вакуум  
души, что покинула нас,  
чья тайна забыта за кваканьем.  
Как тянет сейчас!

И вытянутое сердце,  
где вздутые жил провода,  
как третья ладонь разжималась,  
просила гвоздя.

Терновые новые ветки  
Ты ставила, кровь соскреба.  
Шипы двадцать первого века  
тянули Его на себя.

«Прощаю, садисты невольные!  
я слышал. — Печаль утоли.  
Страшной направление боли,  
которое изнутри».

Не на деревяшках же Его распинали — сквозили поперечники болевой энергии, бруски беспредела, растяжение истории, вот почему художники никогда не изображали распятие в профиль, иначе бы им пришлось давать поперечное сечение, где

ребра, как новые руки,  
стояли креста поперек,  
указывающие муки  
не понятых нами дорог.

Летя над Иерусалимом,  
я видел, что смертным нельзя,  
над бьющимся компасом боли,  
что видят лишь небеса.  
Там ангел и клин журавлиный  
кричит и отводит глаза.

Тащило бревно население,  
как будто тарана бревно,  
любя, мазохистски зверя,  
к страданиям иных измерений,  
что людям познать не дано.

Дальше не помню, не стирайте память, разум не отнимите!

Меж толпами злых идиотов  
я видел себя самого,  
что натягивал на стадионы  
перепонки ушные Его.

Ужель меж писательских профи  
я был на Голгофе в бистро  
потягивать черный свой кофе  
из чашек коленных Его?!

«Прости, — повторяю над пропастью, —  
незрячие годы мои,  
что видел  
в одной только плоскости  
безмерные муки Твои».

## А. МЕНЬ

### I

Кто поднял топор на священника?  
Кто шел за ним в раннюю стынь?  
И как найти в сердце прощение  
тому, что сейчас творим?  
Кто поднял топор на священника,  
тот проклял себя. Аминь.

Неужто страна в деградации  
болеет так тяжело,  
когда не до святотатства —  
до святотопорства дошло?!

Красивый. Сердца участием  
смягчал. Темны времена.  
Убитый домой стучался.  
Его не узнала жена.

С его позвонками шейными  
диспут провел топор.  
Страна, убивая священника,  
пишет себе приговор.

Они беззащитной аортой  
с Тарковским были близки,  
пятьсот пятьдесят четвертой  
школы ученики.

Мы вместе учились в чертогах  
пятьсот пятьдесят четвертой.  
На панихиде твоей  
от имени нашей школы  
зажгу тебе свечку скорбную,  
опальный протоиерей.

Приход посреди России.  
Афганцы. Маковок синь.  
И девушка вслед литургии  
вздохнула: «А. Мень... Аминь...»

А в небе кровавым довеском  
над утренней нашей тропой  
с космической достоверностью  
предсказанный Достоевским,  
как спутник, летит топор.



## II

Прокатилось до Армении от московских деревень:  
Мень,мень,мень...

И афганцы парашютные шепчут исповедь с колен,  
автоматами прошитые, точно в дырочках ремень:  
«Мень,мень,мень...»

Отвечает эхо: «Мень —  
нем».

*Новая Деревня  
Храм Сретенья.*

*10/IX/90г.*

## ЮЗ

Грузовики несутся юзом.  
«Москвич» вмят в стенку, словно туз.  
Вопль моей музы не для ТЮЗа.  
Общественный и личный юз!

Не сладить тормозами с юзом.  
Балет на льду — наш давний плюс.  
Сагдеев, обхвативши Сюзан,  
преодолеет запретов юз.

Несется памятник на пузе,  
пустив по воздуху картуз.  
Возможны страстные откусы.  
Что ты наделала, Мисюсь?!

Кому-то флюс, кого-то сжали!  
Ни Божьих, ни моральных уз.  
Визг номеров со всей державы —  
юз, юз!  
Когда же разобьюсь?  
Экскюз ми, Воланд, сжавший рублик.  
Всеобщий юз. Великий юз.  
Со-юз  
Советских Социалистических  
Республик.

*1987*

## ДЕФИЦИТ

В магазин зашел: «Алло!  
Дайте неба полкило».

Продавцов сказали двое:  
— С небом перебой.  
Нету черного, ночного,  
Белого нет, облачного,  
Ни розового, ни голубого,  
Ни серого — ну никакого,  
Нету неба бородинского!..  
«Тоже мне — князь Андрей».  
«Гражданин, не надо диспутов!  
Не толпитесь у дверей».

«Дома глазки голубые  
Ждут, чтоб неба им добыли.  
Если неба не давать —  
Они будут затухать.  
Отпусти, небена мать».

Продавщица ответила: «Сочувствую.  
Вместо хлеба нам насущного  
По талону за июль  
Отпущу один буль-буль.  
Отпустить могу вам смога.  
Но немного».

«Мне хотя бы без изюма,  
И без звезд.  
Я ее люблю безумно!  
Разрешите встану в хвост».

«Ваши бы заботы мне бы.  
В мировой голубизне  
Строить общество без неба  
Нелегко в одной стране.  
В Марксе нет социализма.  
Вода кончилась в воде.  
Бензина самоубийце  
Нету. Неба нет нигде.  
Если будут все, как ты,  
Будут небные бунты.

А авоська — как кроссворд.  
Угадай, из чего торт?»

«Нашенским без неба — финиш.  
Даже в тюрьме  
Пайки синенькие видишь  
Четвертушками в окне.  
Мне хотя бы ломтик надо,  
Чтобы глазки зацвели.  
Мне сказали, из Канады  
Тонну неба завезли».

Продавец сказал любезно:  
«Страна наша безнебесна.  
Где работаешь, дебил?  
Сам ты небо задымил».

Человек ушел без неба.  
В безнебесные места.  
У моста слепые требуют:  
«Подайте неба, ради Христа».

И Большой театр без Феба  
Подтверждает: «Нету неба».

## ЦЫГАНЕ СОЦИАЛИЗМА

Пожертвуйте что-нибудь бедствующим!  
Обрежешься об их лица.  
Есть новая нация — беженцы,  
цыгане социализма.

Нет песен у этой нации.  
И Нансена для них нет.  
Погром, не посаженный на цепь,  
в их душах оставил след.

Россия бежит из Прибалтики,  
бежит из Баку Армения,  
азербайджанки с Амасии,  
на Запад интеллигенция.  
Бог покидает храмы —  
пожертвуйте нации беженцев!

А ты идешь по столице  
с плакатом: «Мерси, Баку!» —  
цыганочка социализма  
с детишками на боку.

Швейцар тебя учит совести,  
и некуда тебе пожаловаться —  
бездомны «Московские новости»,  
затопленные пожарными.

Пока мы в домах с этажерками  
и не стряслось неизбежное,  
беженцам хоть рубль пожертвуйте!  
Пока мы сами не беженцы.

## ПЯТЬ КАПЕЛЬ НЕБА

### I

России — крах? Демонтаж сфинкса.  
Свобода, демоны и прах...  
Святой Андрей Филадельфийский  
светает в синих куполах.

Ты не был взорван, не был засран,  
не стал ты хлевом под свиньей,  
сюда необъяснимо заслан  
предчувствующей синевой.

Храни, тайник филадельфийский,  
взор нерасстрелянных веков  
и зубчики филателийские  
Кремля под сургучом орлов.

Но почему не успокоит  
души странноприимный храм?  
Как две коробки упаковки,  
стоят два дома по бокам.

Свет реставрирован отверстый,  
я так души не почию.  
Но почему, отец, ответствуй,  
так ранит синий, почему?

Зачем строители «Варяга»  
куски андреевского флага  
наклеили на купола?  
Чьи звездочки на купол сели  
с погон морского офицера?  
С кем эмигрировала вера  
пока страна еще — была?

Детей, почуя преисподню,  
как в сейф, вложила в край чужой...  
Что там с тобой сейчас, сегодня?  
Господь, безумных успокой!

## II

Синь, избежавшая ГУЛАГа,  
сестра «Варяга», что на дне.  
Неужто вариант «Варяга»  
сужден стране?

## III

Филадельфийская портниха  
что о России знать могла?  
В необъяснимое проникла,  
мисс Бетси Росс, ваша игла.

Как штопают на ложках бабки,  
на звездно-синих куполах  
Троицко-Сергиевой Лавры  
натянут звездно-синий флаг.

Рисуя звездами на синем  
по флагу, древний Джаспер Джонс  
неужто купола России,  
увидел, ими поражен-с?

В закате пашни полосные,  
то белые, то огневые —  
лежали борозды в снегу,  
и звезды купола в углу  
по голубому — золотые...

#### IV

Молись, дитя в джинсах овчинных,  
молись за родину, малыш,  
за Язу и за Пречистенку,  
за потопляемых пучиной  
первопричины помолись.

Молись за горстку, что над рыком  
наладить пробует ладью...  
С двумя свечами, как с обрывками  
веревек лестницы, стою.

#### V

Не луковки, а капли сини  
с крестов набухли, как печаль.  
Нам Ты от жизни депрессивной  
пять капель неба прописал.

Четыре синие набрякли.  
А пятою полны глаза,  
а с пятой роковою каплей  
пока что медлят небеса.

Россия рвется в Апокалипсис,  
Мы не спасем — ни я, ни вы.  
А вдруг спасет церковка-капельница  
в слезах целебной синевы?

*25 ноября 1990 г.*

### ПЕСНЬ ПЕНСИЛЬВАНСКАЯ

Что вы спросите  
с поселянина  
University  
of Pennsylvania?

Унавозите  
мной познания  
University  
of Pennsylvania?

Прилетел я  
не пофилонить —  
а постигнуть,  
что не достиг  
архитектор из Вавилона —  
поэтический надъязык.

Осы Осипа,  
«Си» Северянина  
в University  
of Pennsylvania?

Вслед пружинки  
летят золотые —  
осы мертвые  
из России.

Семинар осенний мой.  
Люди из шрифта.  
Yes, Есенин!  
Деррида — да!

Сыплут нотным семенем  
липы на форда.  
Yes, Есенин.  
Данкен — да!

Мы — тени супертекста  
Езда в бездну, — но  
Yes, Достоевский!  
А г...но — no!

Колесо, версти  
Селифаново,  
в University  
of Pennsylvania.

Музы носятся —  
Pants off  
Над University  
Penns' of...

Дай мне, Господи,  
образования  
в University  
of Pennsylvania.

## ЧТО БУДЕТ?

Читаю ль тягомотину обычную  
или статьи завистливую рвотину —  
я думаю не об обидчике —  
что будет с родиной?

Неужто и она себя утратит —  
и лес, и Кремль, оттиснутый на сотенной —  
и распадется как Урарту —  
что будет с родиной?

И анархист, чье знамя черный космос,  
и эмигрант в парижской периодике  
одним одолеваемы вопросом —  
что будет с родиной?

Москвич последний, среди белых пятен  
я выхожу без шапки и пальто.  
Мне дым Отечества и сладок и приятен,  
когда это не дым от ВТО.

Я не хочу, чтобы кричала к небу  
чета берез, как беженцы в исподнем.  
Отец и мать в моих проснулись генах:  
«Что будет с родиной?»

## РУССКИЕ WESTНИКИ

О чем вы, вестники, русские westники?  
На ваших майках застиран текст.  
Вперед, на Запад! Сквозь все репрессии  
Россию тащите из гиблых мест.

Чего ты вестница, ночная westница?  
Соц-арта лестницы, потех, свобод?  
Не помнят «истники» известной истинки:  
солнце, естественно, на Запад рвет.

Мозги стекают в Мельбурн и Хельсинки.  
Чахнет мать-мачеха по лугам.  
Из Брянска в Беркли летят кудесники  
учиться к русским профессорам.



Чем жить статично, проще повеситься!  
Мильон подало на отъезд.  
Идут на заработки русские westники.  
Вперед, на Запад! Взят город Брест.

Под брюхом глобуса солнце, естественно,  
вернется с Запада на восход.  
И с х о д не в мире — в душе наметился.  
Какой-то вакуум страну сосет.

## В НЬЮ-ЙОРКСКОМ РЕСТОРАНЕ

Моей жизни часть эмигрировала.  
Здесь жила. Пустила корни.  
С интересом сейчас игривым  
рассматривает меня.

Ты алмазно сияешь — краешком  
глаза, носа — как в нашу рань.  
Но сейчас ты — граненый камушек.  
Как далась тебе эта грань!

Расшибалась всмятку, в восьмерки.  
Пропасть пробовала на боках.  
Держишь русский кабак в Нью-Йорке  
на отчаянных каблучках.

В этой темной шикарной яме  
я узнаю — тебя потом —  
неполоманное твое сиянье,  
словно малый алмазный фонд.

Узнаю, что никто не знает,  
что таю, от себя храня.  
Вышибала, тобою нанят,  
усмехается на меня.

Якиманкой бежала шибко,  
в мировой провал сорвалась,  
И сияешь. И не расшиблась.  
Доказала, что ты алмаз.

## ИПАТЬЕВСКАЯ БАЛЛАДА

Морганатическую фрамугу  
выломал я из оконного круга,  
чем сохранил ее дни.  
Дом ликвидировали без звука.  
Боже, царя храни!

Этот скрипичный ключ деревянный,  
свет законный, узор обманный,  
видели те, кто расстрелян, в упор.  
Смой фонограмму, фата моргана!  
У мальчугана заспанный взор...  
— Дети! Как формула дома Романовых?  
НС!

Боже, храни народ бывшей России!  
Хлорные ливни нам отомстили.  
Фрамуга впечаталась в серых зрачках  
мальчика с вещей гемофилией.  
Не остановишь кровь посейчас.

Морганатическую фрамугу  
вставляю в окошко моей лачуги  
и окаянные дни протяну  
под этим взглядом, расширенным мукой  
неба с впечатанною фрамугой.  
Боже, храни страну.

Да, но какая разлита разлука  
в формуле кислоты!  
И утираешь тряпкою ты  
дали окружи в раме фрамуги  
и вопрошающий взор высоты.

\* \* \*

Над темной молчаливою державой  
какое одиночество парить!  
Завидую тебе, орел двуглавый,  
Ты можешь сам с собой поговорить.

1978

\* \* \*

Ты мне никогда не с니шься.  
Живу Тобой наяву.  
Снится все остальное.  
И это дурные сны.

Спишь на подушке ситчика.  
Вся загорела слишком.  
Дышит, как чайное ситечко,  
выбритая подмышка.

Набережная Софийская!  
Двери балконной скрип.  
Медвяная метафизика  
пахнущих Тобой лип.

## ЕЕ ПОВЕСТЬ

Я медлила, включивши зажиганье.  
Куда поехать? Ночь была шикарна.  
Дрожал капот, как нервная борзая.  
Дрожало тело. Ночь зажгла вокзалы.  
Все нетерпенье возраста Бальзака  
меня сквозь кожу пузырьками жгло —  
шампанский возраст с примесью бальзама!

Я опустила левое стекло.

И подошли два юные Делона —  
в манто из норки, шеи оголены.  
«Свободны, мисс? Расслабиться не прочь?  
Пятьсот за вечер, тысячу — за ночь».

Я вспыхнула. Меня, как проститутку,  
восприняли! А сердце билось жутко:  
тебя хотят, ты — блядь, ты молода!  
Я возмутилась. Я сказала: «Да».

Другой добавил, бедрами покачивая,  
потупив голубую непорочь:  
«Вдруг есть подруга, как и вы — богачка?  
Беру я также — тысячу за ночь».

Ах, сволочи! продажные исчадья!  
Обдав их газом, я умчалась прочь.  
А сердце билось от тоски и счастья!  
«Пятьсот за вечер, тысячу — за ночь».

## ОТВЕТ НА ЗАПИСКУ

Все пишут — я перестаю.  
О Сталине, Высоцком, о Байкале,  
Гребенщикове и Шагале,  
о Гавеле и о Вишневской Гале,  
Литве или Мемориале  
писал, когда не разрешали.

Я не хочу «попасть в струю».

## ЛИТОВСКИЕ МОТИВЫ

*Ю. Марцинкявичюсу*

О чем вы, литовские дюны?  
Что граблями грабят грибы?  
О чем вы, литовские думы?  
О дыбах судьбы?

Зачем я глядеть не устану  
в литовское море ночное?  
Оно — негатив горностая,  
с белыми хвостиками на черном.

Здесь нету заборов. Все просто.  
Мужчина здесь от угла  
в бумаге, как длинную розу,  
несет золотого угря.

Литвинка, дочь тихих родителей,  
от имевшего нож и вино  
насильника в общежитии  
выбрасывается в окно!

Зачем проступают в парилке  
таймые в генах слова?  
Зачем во все наши молитвы  
подсознательно входит «Литва»?

## АХ, МИНИСТР, НЕ ПЕСТИЦИДЬТЕ!

Здравствуйте, министр добрейший  
аморальных удобрений!  
У датчан едят нитрат  
больше нашего в сто крат?

Я за них просто в отчаяньи!  
По больницам нашим в ряд —  
все датчане, все датчане  
с отравлениями лежат.

Ах, министр, не пестицидьте!  
Неужель — не у датчан —  
детской смертности статистика  
Вас не будит по ночам?!

Скушайте, министр, продукты,  
что народу продают.  
В Дании такие фрукты  
в отставку подают.

Тяжко в Дании живется.  
Нет у них в юдоли бренной  
Министерства производства  
минеральных удобрений.

Ах, министр, не мучьте сердце!  
Упраздните Министерство.  
Чтобы елось москвичам  
(псковичам и т. д.)  
хоть на уровне датчан.

*20 марта 1989 г.*

\* \* \*

Абхазия — как Ориноко,  
Зеленая на голубом.  
Гуляет парень одинокий.  
Что ищет он в краю родном?

Его не занимают музы.  
Что он ищет, золотой?  
— Автомат системы «Узи»,  
как будто в «Узи» есть покой.

\* \* \*

*С. Аверинцеву*

С иными мирами связывая,  
глядят глазами отцов  
дети —  
широкоглазые  
перископы мертвецов.

## РЕКВИЕМ ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ

За упокой Высоцкого Владимира  
коленипреклоненная Москва,  
разгладивши битловки, заводи́ла  
его потусторонние слова.

Владимир умер в 2 часа.  
И бездыханно  
стояли полные глаза,  
как два стакана.

А над губой росли усы  
Пустой утехой,  
Резинкой врезались трусы,  
разит аптекой.

Спи, шансонье Всея Руси,  
отпетый.  
Ушел твой ангел в небеси  
обедать.

Володька,  
если горлом кровь,  
Володька,

когда от умных докторов  
воротит,  
а баба, русский журавель,  
в отлете,  
орет за тридевять земель:  
«Володя!»  
Ты шел закатною Москвой,  
как богомаз мастеровой,  
чуть выпив,  
шел популярней, чем Пеле,  
с беспечной челкой на челе,  
носил гитару на плече,  
как пару нимбов.  
(Один для матери — большой,  
золотенький,  
под ним для мальчика — меньшей...)  
Володя!..  
За этот голос с хрипотцой,  
дрожь сводит,  
отравленная хлеб-соль  
мелодий,  
купил в валютке шарф цветной,  
да не походишь.  
Спи, русской песни крепостной —  
свободен.

О златоустом блатаре  
рыдай, Россия!  
Какое время на дворе —  
таков мессия.

А в Склифосовке филиал  
Евангелия.  
И Воскрешающий сказал:  
«Закреть едальники!»

Твоею песенкой ревя  
под маскою,  
врачи произвели реа-  
нимацию.

Ввернули серые твои,  
как в новоселье.  
Сказали: «Топай. Чти ГАИ.  
Пой веселее».

Вернулась снова жизнь в тебя.  
И ты, отудобев,  
нам говоришь: «Вы все — туда.  
А я — оттуда!..»

Гремите, оркестры,  
Козыри — крести.  
Высоцкий воскрес.  
Воистину воскрес!

1971

## РЕПЛИКА

Дорогие литсобратья!  
Как я счастлив оттого,  
что средь общей благодати  
меня кроют одного.

Как овечка черной шерсти,  
я не зря живу свой век —  
оттеняю совершенство  
безукоризненных коллег.

1975

## ВАСИЛЬКИ ШАГАЛА

Лик ваш серебряный, как алебарда.  
Жесты легки.  
В вашей гостинице аляповатой  
в банке спрессованы васильки.

Милый, вот что вы действительно любите!  
С Витебска ими раним и любим.  
Дикорастущие сорные тюбики  
с дьявольски

выдавленным

голубым!

Сирий цветок из породы репейников,  
но его синий не знает соперников.  
марка Шагала, загадка Шагала —  
рупь у Савеловского вокзала!



Это росло у Бориса и Глеба,  
в хохоте нэпа и чебурек.  
Во поле хлеба — чуточку неба.  
Небом единым жив человек.

Их витражей голубые зазубрины —  
с чисто готической тягою вверх.  
Поле любимо, но небо возлюблено.  
Небом единым жив человек.

В небе коровы парят и ундины.  
Зонтик раскройте, идя на проспект,  
Родины разные, но небо едино.  
Небом единым жив человек.

Как занесло васильковое семя  
на Елисейские, на поля?  
Как заплетали венок вы на темя  
Гранд Опера, Гранд Опера!

В век ширпотреба нет его, неба.  
Доля художников хуже калек.  
Давать им сребреники нелепо —  
небом единым жив человек.

Ваши холсты из фашистского бреда  
от изуверов свершали побег.  
Свернуто в трубку запретное небо,  
но только небом жив человек.

Не протрубили трубы господни  
над катастрофою мировой —  
в трубочку свернутые полотна  
воют архангельскою трубой!

Кто целовал твое поле, Россия,  
пока не выступят васильки?  
Твои сорняки всемирно красивы,  
хоть экспортируй их, сорняки.

С поезда выйдешь — как окликают!  
По полю дрожь.  
Поле пришпорено васильками,  
как ни уходишь — все не уйдешь...

Выйдешь ли вечером — будто захварываешь,  
во поле углические зрачки.  
Ах, Марк Захарович, Марк Захарович,  
все васильки, все васильки...

Не Иегова, не Иисусе,  
ах, Марк Захарович, нарисуйте  
непобедимо синий завет —  
Небом Единым Жив Человек.

1973

## ИМЕНА

Да какой же ты русский,  
раз не любишь стихи?!  
Тебе люди — гнилушки,  
а они — светляки.

Да какой же ты узкий,  
если сердцем не брат  
каждой песне нерусской,  
где глаголы болят...

Неужели с пеленок  
не бывал ты влюблен  
в родословный рифмовник  
отчеств после имен?

Словно вздох миллионный  
повенчал имена:  
Марья Илларионовна,  
Злата Юрьевна.

Ты, робея, окликнешь  
из имен времена,  
словно вызовешь Китеж  
из глубин Ильмена.

Словно горе с надеждой  
позовет из окна  
колокольно-нездешне:  
Ольга Игоревна.

Эти святцы-поэмы  
вслух слагала родня,  
словно жемчуг семейный  
завещав в имена.

Что за музыка стона  
отразила судьбу  
и семью и историю  
вывозить на горбу?

Словно в анестезии  
от хрустального сна  
имя — Анастасия  
Николаевна.

1979

\* \* \*

Ты молилась ли на ночь, береза?  
Вы молились ли на ночь,  
запрокинутые озера  
Сенеж, Свитязь и Нарочь?

Вы молились ли на ночь, соборы  
Покрова и Успенья?  
Покурю у забора.  
Надо, чтобы успели.

Ты молилась ли на ночь, осина?  
Труд твой будет обильный.  
Ты молилась, Россия?  
Как тебя мы любили!

1972

\* \* \*

Здесь живу, где подыхает живность.  
Надо делать что-то — не тужить.  
Жизнь моя в итоге не сложилась.  
У народа не сложилась жизнь.

## КРЕМЛЕВСКИЙ ГОЛУБОЙ ЗАЛ

Этой весной меня пригласили прилететь и почитать стихи алмазодобытчики из Якутии. В клубе «Алмаз» г. Мирного пришла записка, нацарапанная малахитовыми чернилами: «Расскажите об исторической встрече Н. С. Хрущева с творческой интеллигенцией в Кремле в 1963... О художнике И. Голицыне расскажите...»

Четверть века минуло с той поры. Пора забыть эту старую историю. Но людей до сих пор она волнует — отношения Власти и художника. Встреча, так сказать, историческая.

Черный ящик моей памяти захрипел, разразился непотребной бранью, заплевался. Из него выскочил целлулоидный болванчик.

Кремлевский голубой Свердловский купольный зал зашуршал, заполняясь костюмами и скрипящими нейлоновыми сорочками, входящими тогда в обиход. Это в основном были чины с настороженными вкраплениями творческой интеллигенции. Было человек шестьсот. Шло 7 марта.

Официально это именовалось: Совещание-встреча руководителей Партии и Правительства по решению Президиума ЦК КПСС от 10.XII—1962 г. Три месяца готовились. Подработали сценарий. Трибуна для выступающих стояла к столу президиума почти впритык и чуть ниже этого стола, за которым возвышались Хрущев, Брежнев, Суслов, Косыгин, Подгорный, Козлов (тогдашний фаворит, каратель Новочеркасска), Полянский, Ильичев... Их десятиметровые портреты украшали улицы по праздникам. Их несли над колоннами.

Я впервые был в Кремле. Как родители радовались — меня в Кремль позвали! На предыдущих встречах с Хрущевым я не присутствовал — мы с В. Некрасовым и К. Паустовским были по приглашению во Франции, я там еще остался для выступлений. Все было впервые тогда: сотни тысячи заявки читателей на поэтические сборники, рождение журнала «Юность», съемки необычного внешнего хуциевского фильма, первый вечер русского поэта в парижском театре и накануне первый в истории вечер поэзии в Лужниках — все было впервые после сталинских казарм. Мы связывали это с Хрущевым.

Ростки гласности бесили аппарат. Уже по официозной прессе тех дней было понятно, кого будут прорабатывать на кремлевской встрече, — появилась статья «Турист с тросточкой», с которой началась травля В. Некрасова, вытолкнувшая его затем в эмиграцию, подвал Ермилова против Эренбурга. Те же «Известия» редакционно ударили по моим стихам в «Юности». К постоянной ругани в прессе мы привыкли. Я считал, что Хрущева обманывают и что ему можно все объяснить. Он был нашей надеждой.

В первый вечер заседания Хрущев был хмур, раздраженно перебивал седого режиссера М. И. Ромма, однако обаяние Чухрая смягчило его, и он не стал разгонять Союз кинематографистов, как это уже было предпринято. В первый день нападали на Эренбурга, и все чаще, как по сценарию, стали упоминаться имена — мое и Аксенова. Особенно усердствовали против меня А. Прокофьев и А. Малышко, под гогот предложивший мне самому свои треугольные груши... околачивать, согласно соленой притказке. Они заводили Хрущева. Тот делал вид, что дремлет.

Вот как вспоминает об этом М. И. Ромм:

«Два выступления были ключевых, я бы сказал. Одно — донос в очень благородной форме о том, что Вознесенский давал интервью в Польше... и в этом интервью был задан вопрос, как он относится к старшему поколению и т.д., как с поколениями в литературе. И он-де ответил, что не делит литературу по горизонтали, на поколения, а делит ее по вертикали, для него Пушкин, Лермонтов и Маяковский — современники и относятся к молодому поколению. Но к Пушкину, Лермонтову и Маяковскому, к этим именам он присовокупил имена Пастернака и Ахмадулиной. И из-за этого разгорелся грандиозный скандал. Это было уже во второй день, по-моему».

Крыть мой термин «вертикальное поколение» начала первой, кажется, В. Василевская. Зал не очень-то понял, но возмущился. Действительно. Совсем еще недавно исключили и травили Пастернака, по указанию Хрущева Семичастный кричал, что Пастернак «хуже свиньи» — (... свинья не сделает того, что он сделал... Он нагадил там, где он ест.) На судилище в ревущем зале собрания Союза писателей ораторы вопили по сценарию: «Господин Пастернак, вон из страны!» И вдруг того же Пастернака называют в одном ряду не со свиньей, а с Пушкиным...

Василевская козырнула цитатой из моего интервью: «Гениального Пастернака могу назвать современником Лермонтова».

Голос из зала: «Назовите имя, кто это сказал?»

Ванда Василевская кокетливо: «Не все ли равно, Сережа?»

Тут Глава Державы сделал вид, что проснулся, и странно высоким, писклявым толстяковым голосом потребовал меня на трибуну.

Повторяю, он был нашей надеждой тогда, и я шел рассказать ему, как на духу, о положении в литературе, считая, что он все поймет.

Но едва я, волнуясь, начал выступление, как меня сзади из президиума кто-то стал перебивать. Я не обернулся и продолжал говорить. За спиной раздался микрофонный рев: «Господин Вознесенский!» Я попросил не прерывать и пытался продолжать говорить. «Господин Вознесенский, — взревело, — вон из нашей страны, вон!»

(Сегодня обращения с телевизора «господин», «господа зрители» или «господин Гамахурдия» звучат вполне естественно. Но тогда слово «господин» означало «враг народа», «наймит империализма» и т. д.)

По сперва растерянным, а потом торжествующим лицам наполнявший зал номенклатуры я ощутил, что за спиной происходит что-то страшное. Я обернулся. В нескольких метрах от меня вопило потное, искаженное злобой лицо Хрущева с закатывшимися в истерику желтыми белками. Глава Державы вскочил, потрясая над головой кулаками. Он был невменяем. Разило потом. «Господин Вознесенский! Вон! Вы клевете на Советскую власть! Катитесь к такой-то матери из страны! Вон!! Товарищ Шелепин выпишет вам паспорт!» Дальше шел совершенно чудовищный поток. «Вы хотите венгерской революции у нас... Вон!» (Я не ослышался, он прокричал не «контрреволюции», а «революции».)

«За что?! Или он рехнулся? Может, пьян?» — пронеслось в голове. Такое с ним случилось однажды, когда он, сняв туфлю, стучал ею в ООН. В. Аксенов в мемуарах высказывал предположение, что Генсек под столом успел хватануть стакан. Только привычка ко всякому во время выступлений, видно, удержала меня в рассудке.

Из зала, теперь уже из-за моей спины, нарастал мощный скандеж: «Долой! Позор!» Из первого ряда подскочило брезгливо-красивое лицо: «В Кремль! Без белой рубашки, без галстука?! Битник!» Позже я узнал, что это и был Шелепин, тогда председатель КГБ. Мало кто из присутствующих знал слово «битник», но сразу подхватили: «Битник! Позор!»

В ополумевшей от крика массе зала мелькнуло обескураженное лицо О. Ефремова, взметенные бровки Ю. Завадского. Помню бледные скулы А. Тарковского и Э. Неизвестного. Они были подавлены.

Метнувшись взглядом по президиуму, я столкнулся с пустым ледяным взглядом Козлова. И он, и все остальные члены президиума глядели как бы сквозь меня. Как остановить этот кошмар? Все-таки я прорвался через всеобщий ор и сказал, что прочитаю стихи.

Тут я задел рукавом стакан, он покатился по трибуне. Я его поднял и держал в руках. Запомнились грани с узором крестиками кремлевского хрустального стаканчика. Запомнилось, как Козлов внимательно и настороженно взглянул на мою руку со стаканом.

«Никаких стихов! Знаем! Долой!» — упоенно вопили вокруг. Зал хотел крови.

И тут в перекошенном лице Главы я увидел некую пробивающуюся мысль, догадку, будто его задело что-то, пробудило сознание, что-то стало раздражать — или это мне померещилось? — будто бы он увидел в ревущей торжествующей толпе свою будущую гибель, почуял стихийную силу взбесившейся неподконтрольной номенклатуры. Через год она свернет ему шею. Набывчася, он обиженно протянул: «Нет, пусть прочтает». Читал я стихи «В Шушенском». И Ромм, и Аксенов в своих мемуарах почему-то ошибочно приняли их один за не написанное тогда «Лонжюмо», другой — за «Секвойю Ленина». Когда я дошел до строк:

Какая пепельная стужа  
сковала б родину мою?  
Моя замученная Муза,  
что пела б в лагерьном краю?  
... когда по траурным трибунам  
самодержавно и чугунно,  
стуча, взбирались сапоги!  
В них струйкой липкой и опасной  
стекали красные лампасы...

— зал злорадно затих. В те дни, теряя контроль над процессом, Глава давал в политике задний ход. Читая, я, как обычно, отбивал ритм поднятой рукой. Когда кончил, из угла раздались робкие хлопки и сразу оборвались. «Агент! Агент! — закричал в зал Премьер. «Ну, вот агентов зовут, сейчас меня заберут», — подумалось.

А он продолжал вопить, но уже тоном ниже, видимо, выпустив пар: «Вы что руку подымаете? Вы что руку подымаете? Вы что, нам путь рукой указываете? Вы думаете, вы вождь?» Вот могучий поток его ора.

Х:— Почему Вы афишируете, что Вы не член партии?! «Я не член партии» — вызов дает! Сотрем всех на пути, кто стоит против Коммунистической партии, сотрем!

Вы скажете, что я зажимаю. Я — Секретарь, Председатель. Прежде всего я — гражданин Советского Союза, я боец и буду бороться против всякой нечисти. Мы создали свободные условия не для пропаганды антисоветчины. Мы никогда не дадим врагам воли, никогда! Ишь, ты какой — «я не член партии!» Он нам хочет какую-то партию беспартийных создать. Нет, вы член партии, только не той партии... Товарищи, идет борьба, борьба историческая, здесь либерализму нет места, господин Вознесенский!.. То, что Ванда Львовна сказала — это вы сказали. Это клевета на партию! Для таких будут самые жестокие морозы... Мы не те, которые были в клубе Петефи, а мы те, которые помогли венграм разгромить эту банду... Ваши дела говорят об антипартийщине, антисоветщине.

Вы говорите ложь!..

В.: — Нет, не ложь!

Х.: — Молоко еще не обсохло. Ишь какой. Он поучать будет. Обожди еще!

Мы предложили Пастернаку, чтобы он уехал. Хотите, завтра получите паспорт, уезжайте к чертовой бабушке, поезжайте туда, к своим.

В.: — Зачем мне уезжать?

Х.: — Ишь ты, какие! Думаете, что Сталин умер... Мы хотим знать, кто с нами, кто против нас. Никакой оттепели: или лето или мороз...

Партия не дает вам право на молодежь и всегда будет бороться, чтобы она представляла старое и молодое поколение. И больше никто. Только одно сейчас — ваша скромность, скромность, если вы не перестанете думать, что родились гением.

В.: — Я так не думаю.

Х.: — Вы думаете. Вам вскружил голову талант, ну как же родился принц, все леса шумят. Вы считаете, как только родились, то сразу руку подняли, хотите указать путь человечеству. Не хотите с нами в ногу идти, получайте паспорт и уходите. В тюрьму мы вас сажать не будем, но если вам нравится Запад — граница открыта. Вы по своим стреляете...

И тут утихая, хлюпая, бранясь, он, видимо, назло залу или машинально назвал вдруг меня «товарищ Вознесенский». А может быть, за несколько минут чтения он вынужден был помолчать и тут понял, что перебрал?

Он взмок от получасового ора, рубашка прилипла темными пятнами.

Но он и не думал передыхать.

— Ну, теперь, агент, пожалуй сюда! Ты, очкарик!! Нет, не ты, а ты, вот ты, в красной рубаше, ты — агент империализма, — короткий пухлый палец тыкал в угол зала, где сидел молодой художник Илларион Голицын, график, ученик Фаворского. Он-то, оказалось, и хлопал мне.

Худющий Илюша, меланхоличный, задумчивый, честный, весь не от мира сего, замаячил на трибуне.

— Почему хлопал?

— Я хлопал Вознесенскому, потому что люблю его стихи, и я не агент...

— Да?! А еще что ты любишь?

— (Подумав). Я люблю стихи Маяковского.

— Чем докажешь?

— (Подумав.) Могу наизусть прочесть.

— А зачем на трибуну вышел?

— (Подумав). Вы позвали.

— Ну, говори, если вышел.

— Я не собирался выступать, я не знаю, что говорить.

— А сам кто ты есть?

— (Подумав.) Я — Голицын.

— Голицын? Князь? (Гогот в зале).

— (Подумав.) Я — художник.

— Ах, художник!! Абстраксист!

— (Подумав.) Нет, я реалист.

— Чем докажешь, чем докажешь?

— (Подумав.) Я могу свои работы принести, показать...

— Следующий!

— Я — советский человек. Не знаю, почему возник этот вопрос.



— А вы подумайте. Мы сами можем хлопать, а где не надо — не хлопаем. Следующий!

Следующий на лобную трибуну взошел В. Аксенов.

Вася, лидер молодой прозы, соловей асфальта, джинсовой сири, кумир московского Бродвея, магаданское детство, беззаветный фан джаза, — еще безусый, с обаятельно пухлыми щеками, он сгруппировался, имея время подготовиться к защите. Нас на дурочку не возьмешь!

— Дорогой Никита Сергеевич, дорогие товарищи! Я хочу сказать о том, что меня и мое поколение, я хочу на своем примере показать, насколько крепки наши связи с поколением отцов...

Танк прет на талант, сейчас он сплющит соловья на асфальте.

— А то, что Ванда Львовна прочла?! Вы что, клеветеете на нашу страну? Ваш отец репрессирован, и мы его оплакиваем...

— Нет, он жив, он реабилитирован и получает партийную пенсию... — Он зывал к Хрущеву — освободителю, но пер на него сталинист.

— Вы сказали то, что Ванда Львовна сказала. Это возмутительное дело. На вас ставят ставку империалисты внутри нашей страны...

И прет, прет — охамевший хозяйственник прет на талантливейшего прозаика страны. В своих воспоминаниях В. Аксенов пишет: «Но ведь в зале были Твардовский и Солженицын. Почему никто не вступился, не крикнул: «Хватит орать!»

— Я думаю только, чтобы приносить пользу советской стране и советскому народу.

— То, что вы говорите, это и Пастернак говорил и Шульгин... О том, чтобы служить родине, и враги наши говорят, но какой родине?

Наконец премьер утомился: «Хорошо, пожалуйста. Желаю вам». Объявил перерыв.

Так ломали будущее нашей прозы. Не сломали.

Эренбург впоследствии спросил меня: «Как это вы вынесли? У любого в вашей ситуации мог бы быть шок, инфаркт. Нервы непредсказуемы. Можно было бы запросить пощады, и это было бы прости-тельно».

Помню, как в тумане, прослушал его доклад, где он уже хвалил Сталина и приводил нам в пример какие-то беспомощные вирши, помню, как прошел я через оживленную, вкусно покушавшую толпу. Около меня сразу образовалось пустое место, недавние приятели отводили глаза, испарялись.

Помню, как вышел на темную мартовскую площадь Кремля. Бил промозглый ветер. Играли скользкие блики фонарей на мокрых булыж-

никах, уложенных плотно, один к одному, подобно злорадным ухмылкам на лицах зала. Куда идти?

Кто-то положил мне лапичу на плечо. Оглянувшись, я узнал Солоухина. Мы не были с ним близки, да и потом редко встречались, но он подошел: «Пойдем ко мне. Чайку попьем. Зальем беду». Он почти силой увлек меня, не оставляя одного, всю ночь занимал своим собранием икон, пытаясь заговорить нервы. Дома у него были только маслины. Наливая стопки, приговаривал: «Ведь это вся мощь страны стояла за ним — все ракеты, космос, армия. Все это на тебя обрушилось. А ты, былиночка, выстоял. Ну, ничего...» Я год скитался по стране. Где только не скрывался. До меня доносились гулы собраний, на которых меня прорабатывали, требования покаяться, разносные статьи. Один из поэтов, клеймивший с трибуны собрания в Союзе писателей, требовал для меня и Евтушенко... высшей меры, как для изменников Родины. На латвийском вокзале я натолкнулся на плакат, выпущенный Агитплакатом, где разгневанные мухинские Рабочий и Колхозница выметали железной метлой из нашей страны шпионов и книжку с названием «Треугольная груша». Под плакатом стояла подпись: «Художник Фомичев, текст Жарова». Такой плакат, увеличенный до гигантских размеров, стоял при въезде в Ялту. Но люди и на Владимирщине, и в Прибалтике очень по-доброму тогда ко мне относились.

По стране искали и клеймили «своих Вознесенских». Худо пришлось тогда И. Драчу и О. Сулейменову.

Сознание оцепело. Пришла депрессия. А. Приставкин вспоминает, как видел меня в Латвии — в послешоковом состоянии. Я ждал, боялся ареста, отказывался читать стихи. Впрочем, был молод тогда — оклемался. Остались стихи. Тогда написались «Сквозь строй», «М. Монро». Матери моей, полгода не знавшей, где я и что со мной, позвонил журналист: «Правда, что ваш сын покончил с собой?» Мама с трубкой в руках сползла на пол без чувств.

Через год, будучи на пенсии, Н. С. Хрущев передал мне, что сожалеет о случившемся и о травле, что потом последовала, что его дезинформировали. Я ответил, что не держу на него зла. Ведь главное, что после 56-го года были освобождены люди.

Странно, что, несмотря на пережитое, я не испытывал обиды на него. Не испытываю и сейчас. Я долго не мог уразуметь, как в одном человеке сочетались и добрые надежды 60-х годов, и купецкое самодурство. Да, правда, я отказался подписать поздравление к его 70-летию, когда он, Глава Державы, был в могучей силе, и редакции «Юности» пришлось разбросать подписи в виде автографов не в алфавитном порядке, чтобы не было видно, что не все подписали. Но это относилось к моему пониманию достоинства. Я никогда не забыл того, что Н. С. Хрущев сделал для страны — освободил людей.

Да, мемуаристы правы: пройдя школу лицедейства, владения собой, когда, затаив ненависть к тирану, он вынужден был плясать перед ним

«гопачок» при гостях, он, видимо, как бы мстя за свои былые унижения, сам, придя на престол, завел манеру публично унижать людей, растаптывать их достоинство — топал на тоненькую Алигер, на старушку Шагинян, кричал художникам в Манеже «господа педерасты!», санкционированная им травля довела до инфаркта В. Дудинцева, загубила творческую судьбу М. Хуциева. Он не доверял интеллигенции, страшился гласности. Но он ли виноват? Виновата черная Система, воспитавшая его. Ныне опубликовано, как он, придя к власти, первым делом уничтожил документы о своем соучастии в кровавых расправах. Кровь тяготила его, и тем мужественнее подвиг его доклада на XX съезде, который, кстати, давно пора обнародовать полностью.

Не он виноват, черное затмение виновато. Виноваты и подхалимы, его окружавшие, типа Подгорного и создателей фильма «Наш Никита Сергеевич». Лысцевым он лично подписывал Ленинские премии по литературе за описания своих поездок. Его помощник Лебедев, никак не будучи писателем, не постеснялся устроить себе Ленинскую премию по литературе, такую же, которую имели А. Твардовский и М. Шолохов и не имел, скажем, К. Паустовский.

Историкам еще предстоит написать портрет Н. С. Хрущева, его великих дел, я лишь рассказал об одном эпизоде, рассказал, что видел и пережил сам.

В своих мемуарах М. Ромм так записал этот эпизод:

«...Пока вдруг во время очередной какой-то перепалки, пока Вознесенский что-то пытался ответить, Хрущев вдруг не прервал его и, обращаясь в зал, в самый задний ряд, не закричал:

— А вы что скалите зубы? Вы, очкарик, вон там, в последнем ряду, в красной рубашке!..»

А вот и о моем злополучном чтении стихов: «Читает, ну не до чтения ему: позади сидит Хрущев, кулаками по столу движет. Рядом с ним холодный Козлов.

Прочитал он поэму, Хрущев махнул рукой:

— Ничего не годится, не годится никуда. Не умеете вы и не знаете ничего! Вот что я вам скажу. Сколько у нас в Советском Союзе рождается ежегодно людей?

Ему говорят: три с половиной миллиона.

— Так. Так вот, пока вы, товарищ Вознесенский, не поймете, что вы — ничто, вы только один из этих трех с половиной миллионов, ничего из вас не выйдет. Вы это себе на носу зарубите: вы — ничто.

Вознесенский молчит. Что уж он там пробормотал, не знаю, не помню...

...Тут от этого крика хрущевского на Вознесенского всю эту толпу интеллигентов охватило какое-то странное, жестокое возбуждение. Это явление Толстой здорово написал в «Войне и мире», когда Расстопчин призывал убить купеческого сына и как толпа вся, друг друга заражая жестокостью, сначала не решалась, а потом стала убивать».

Что я «пробормотал» в ответ на самодержавное «вы — ничто»? Я ту-по повторял: «Я — поэт».

В. Каверин, сидевший близко, расслышал другие мои слова. Он вспоминал в статье «Солженицын»: «Смертельно бледный Вознесенский говорил: «Я — ученик Пастернака».

Увы, даже при наступившей гласности воспоминания М. Ромма с трудом пробилась в печать — почти год они пролежали в «Огоньке», редакции все не удавалось их обнаружить.

Публикация роммовских мемуаров как бы сняла запрет с темы. Появились еще воспоминания. Вот как я выглядел на трибуне со стороны, по свидетельству художника: «Когда впереди зал ревет, а за спиной Н. С. Хрущев неистовствует — ох, несладко это было!», вспоминает он, как Василевская, известная близостью к Хрущеву, обрушилась на мое (т. е. Достоевского) крамольное высказывание «Красота спасет мир». Оказывается, эта фраза подорвала социализм в Польше. «Что за красота?! — кричала она. — Когда это приходит в Польшу — это директива. Это вредная работа...» Об этом и В. Аксенов вспоминает. Есть и некоторые неточности в мемуарах — обстановка в зале была нервная, немудрено и перепутать. Например, Василевская возмущалась интервью не с «двумя поэтами в Польше», а «с поэтом и прозаиком», под прозаиком она имела в виду В. Аксенова. Прокофьев выступал не после Хрущева, а до него, провоцируя того на крик, обличая мою непартийность: «я не могу понять Вознесенского и поэтому протестую. Такой безыдейности наша литература не терпела и терпеть не может... Мы Америку знаем, не как Вознесенский ее описал, а как Маяковский выразил ее колониальную сущность!»

Идейность, партийность — это был лейтмотив брани. Особенно звелись они, когда я заявил, что я беспартийный. И еще сослался на Маяковского. Тут многие из них вдруг узнали, что Маяковский не был членом партии. Они очень обиделись и взбесились. Художник вспоминает и такие слова Хрущева: «...господин Вознесенский! Ты не на партийной позиции. Для таких — самый жестокий мороз... Обожди, мы тебя научим. Ишь ты какой... Пастернак!.. Получайте паспорт и езжайте к чертовой бабушке. К чертовой бабушке!» Зал неистовствовал...

Так душа моя приобретала экзистенциальный опыт, общий со страной и в чем-то индивидуальный, что согласно Бердяеву и способствует созданию личности.

Многое позбылось, но подушечки пальцев помнят ледяной кремлевский стаканчик, покотившийся по трибуне, помнят четкие хрустальные крестики граней на нем. Глядишь, не останови я этот стаканчик, упави он, разбейся на весь зал — глядишь, и очнулся бы Премьер от припадка, обстановка бы разрядилась, прибежали бы прислужники осколки заметать, кампания сорвалась бы, не было бы ни проработочных собраний, ни всесоюзного ора, процесс развития культуры пошел бы по-иному...

Но стаканчик уцелел. Случай?

«Чем случайней — тем вернее».

## РОССИЯ POESIA

Меня мучает смысл, открывшийся в ее имени. Россия — Poesia. Почему это открылось мне именно сегодня?

Мы ведь не видеоклип под названием «Распад» смотрим. Распад проходит через сердце и жизнь каждого. Распадается не только Система, политическая Империя, потрясшая человечество ГУЛАГом, Чернобылем, деградирующим генофондом и т. д. На наших глазах гибнет иное — край неизъяснимой красоты, духовная общность, для которой буквально Слово — Бог, страна, давшая в тоталитарный век прозрение Хлебникова и стон Цветаевой, единственная страна, соборно слушающая стихи на стадионах. У каждого народа своя роль на Земле.

Снежинки веки засорили,  
а может, зрение прорезали?  
Я в начертании «Россия»  
прочел латинское «Poesia» —

Пройдет столетие болезное.  
Суперкомпьютерному сыну  
проступит в имени «Poesia» —  
Россия...

Неужели и языку нашему животворному суждено погибнуть, окаменеть, подобно латыни, хранящей слепок с живого некогда Рима? Гибель языка означает гибель сознания. Репрессированные «твердые знаки» и «яти» были двойниками убитых в подвалах. Это не восстановить. Я отнюдь не за старую орфографию. Культура XX века создана на новом правописании. Хочу просто показать, как начертание влияет на смысл.

Теперь не прочитать «Соловьиного сада» так, как его задумывал поэт. Блок говорил, что не мыслит слова «садъ» без твердого знака. В знаке, видно, он видел решетку Летнего сада. С Пушкина сбивали «яти», как сбивали орлов с кремлевских башен. Чему мешало «и»? Или оно напоминало застреленного человека с дырочкой в затылке?

Вчитываюсь в ее имя. Пытаюсь понять смысл имен ее гибельных поэтов. «Темен жребий русского поэта», — прокричал раздираемый между красными и белыми, не застреленный ими, значит, по-нашему, «благополучный домовладелец» Волошин. Смерть убиенных продолжается в нас.

Умирают кони Гумилева. Какое сено ест сейчас есенинская корова? В молоке сегодняшнем пестициды порой в 9 раз превышают норму.

За два года после публикации в «Огоньке» моего письма к министру минудобрений кое-что вроде бы улучшилось. Прошли первые чтения закона о пестицидах, нитратах и тяжелых металлах. Создаются экологически чистые хозяйства. Но разум неистощим. Некоторые совхозные умельцы для повышения показателей жирности (т. е. плотности) добавлялись добавлять в молоко... стиральный порошок.

Наше нутро отстирывают? На недавних Экологических курсах в Пушкине возник вопрос, как обнаруживать эту примесь...

Какая тут Poesia? Страна, доведшая себя до голода в мирное время? А насиливание малолетних? А повальная зависть? А антисемитизм? А сладострастное обливание грязью имен? А ревуший реваншизм реакции, утешающей танками своих людей?

Еще больше скажу и говорил, но еще А. Ахматова среди торжествующей грязи, пострашней, чем сегодняшняя, с мужем в могиле и сыном в тюрьме, прошедшая вой всесоюзных собраний, произнесла: «И если Поэзии суждено цвести в 20-м веке именно на моей Родине, я, смею сказать, всегда была радостной и достоверной свидетельницей...»

Для меня суть России — не в ее супостатах, а в Заболоцком, Тарковском или в юной Николенковой из Барнаула, выдохнувшей хрустальную строку. Поэты, как морские микроорганизмы, перерабатывают грязь мира в Чистоту, гармонию. Молюсь именам мучеников слова, пытаюсь понять скрытый в них смысл. Имя — первое, что всасывает человек с молоком. Оно довлеет над ним всю жизнь, в нем закодирована будущая судьба. Астрологи, древние китайцы и наш о. Павел Флоренский, стигнувший в лагерях, нашли, что «есть предугадание именем судьбы и биографии».

С конца 60-х годов ко мне приходил читать свои стихи светлоокий юный богослов Валентин Никитин. Вокруг него и сегодня чувствуется кроткая аура, которая отличает тружеников интеллигентов, она ощущается и в его стихотворном сборнике «Сумерки смертного дня», выпущенном недавно издательством ИМКА-пресс. Жена его Ольга, внучка о. Павла, писала в ту пору необычный диплом, посвященный цветку. Тогда я и познакомился с неопубликованными трудами гениального мыслителя, они стали откровением для меня.

«По имени и житие» — стереотипная формула жизни, по имени — житие, а не имя по житию», — читаем в его исследовании «Имена». «Рифма есть свойство имени, что роднит художественное творчество с восприятием личности в жизни и формирует «типический склад личности».

Арабы и индейцы, когда рок тяготел над ними, меняли имя, чтобы имя подобрало себе, как рифму, иную судьбу.

О. Павел Флоренский выписывает знаковый смысл буквы «і», «і» — образ обнаружения мощи: знак духовной длительности, вечности, времени и всех идей...»

Вот чем мешала убивцам буква «і»! Вот что потеряли мы, утратив ее из языка. Меняя знаковую систему, меняем историю. Публикаторы «Имен» свидетельствуют, что вместе с рукописью лежала газетная вырезка, сообщавшая, как энтузиасты тех лет перекрещивали себя: Широкова Мария решила именоваться Октябрина, Демидов Петр — Лев Троцкий, Уваров Федор — Виль Радек, Клубышев Николай — Рим Пролетарский... За этим Флоренский видел гибель личности и историческую смерть.

«Народное представление именной типологии, по-видимому, не лишено жизненного значения, а характеристики имен, если не служат, то служили руководством к поведению», — добавляет о. П. Флоренский и выписывает из народной лубочной поэзии:

«Приятна в любви Наталья.  
Ленивая походка Ненила.  
Винца испить Аксинья.  
Дом содержать Лукерья.  
Бзнуть и пернуть старая дама Соломенида.

...это, несомненно, не случайные эпитеты, а итог большой вдумчивости, выраженной метким словом», — заключает он. «Лениво» и «Ненила» — как жемужно-поэтично соседствуют эти слова!

О. Павел вникает в суть имен русских, и французских, и цыганских. Прочитав из неопубликованной части рукописи: «Для Николая наиболее характерно действие, направленное вовне. Он слишком рассудителен, чтобы прислушаться к подземному прибору в себе, и слишком принципиален, почитая деятельность своим долгом...» Думаю, противостояние Гумилева и Блока имело за собой и противостояние смысла Николая и Александра. И не близка ли в чем-то именная характеристика эта — рассудок, воля, вещьность, долг — всем трем Николаям нашей поэзии — Гумилеву, Заболоцкому и раннему Тихонову?

Лучшим собранием о. Павла Флоренского являются два вышедших тома четырехтомника, издаваемого в Париже Н. Струве. Жаль, что до сих пор при теперешнем интересе и снятом запрете мы не имеем подобного отечественного издания.

Еще языковеды Р. Якобсон и К. Тарановский проследили, как имена поэтов подсознательно проступают в текстах. Так, ученые А. Яншин и А. Яблоков входят в поэтику яблонов, зерен, окской мучимой воды, спасая природу от пестицидизации. Ныне время профессионалов. Надоели всеобщая мазохистская самобрань, заклинания дилетантов. Имя — зерно гармонии, сочетание Вечности и личности. Попробуем найти зерна гармонии в знаках языка. Войдем в интервьюеры слов, в интертекст, в рифмы имен.

В Ахматовой, такой чуткой к своему имени, закодирован «акмеизм». Набоков в татарских корнях своей фамилии искал прошлое. Увы, в них было закодировано будущее. Из букв «Набоков» выкатился «колобок» и пошел катиться через границы, округлый, внешне даже благополучный, живой, — перекасти-поле эмигрантской судьбы. «Колобок» по-арабски означает «переворот», «революция». Глянем далее. Пыльца, осыпавшаяся с литеры «н», превращает ее в четкое «ч», и вот уже из того же кокона «Набоков» выпархивает бабочка, пожизненная страсть писателя, махаон двуязыкой культуры.

Год назад на обложке «Огонька» был плакат «Век Пастернака», где имя поэта перекрещивалось со временем. За год буквы на нем обрели суверенитет, сложились в новые кристаллы. Судьба поэта, политика для него, революции, контрреволюции — внутри языка.

Не слово идет за автором, но автор за словом. Помню шок, потрясение от крови, пролитой 13 января. Хотелось хоть чем-нибудь помочь. Как и многие, слал телеграммы, призывая остановить кровопролитие. Лишь потом вспомнилось, что пару лет назад было слово, знак в рифме «молитва» — «Литва» — тогда я не осознавал смысла услышанного.

Духовность, особенно в нынешнем столетии, являет себя визуально. Не случайно на всех канонических иконах — и православных, и католических, и протестантских — Св. Дух изображается только в виде ока.

Еще Пушкин работал визуальным знаком. Почему «Пиковая дама»? Почему знак пик?

Германн — носитель черного, как сказали бы сейчас, аномального начала, это убийца старушки, маленький Наполеон по авторской характеристике.

Пиковый знак — это маленький чугунный бюст Наполеона в шляпе, роковой силуэт. Герой хочет поглядеться в туз пик, как в крохотное зеркальце.

Великий реалист — Л. Н. Толстой в повести «Отец Сергей» так описывает явление духа герою: «Красный, белый, квадратный, раздражающий душу...» Следующий шаг — квадрат Малевича.

Дух светлый ли, аномальный ли является нашему сознанию в виде видения. В новых работах, которые называю «ВИДУХИ», я пытаюсь постичь духовное через видео. В случае портретов человеческих судеб называю их — ВИДЕОМЫ. Пригодились архитектурные навыки.

Думаю, неосознанно для архитекторов Лужников выходы на стадион спроектированы в виде бетонной буквы «П». Начиная с 30 ноября 1962 года зрители через это «П» входили в Поэзию. С тех пор это стало традицией, тем новым, что наша страна внесла в этот век в мировую культуру. С поэтическими чтениями боролись, запрещали.

Сегодняшний интерес в мире девяностых годов к шестидесятым объясняется тоже зрительно — тень от шестерки становится девятой.

Визуальность близка новой сегодняшней поэзии. Это не только у столичных мэтров В. Сосноры, Г. Сапгира, К. Кедрова — бородатого



гуру метаметафоры и самовитого слова, но и у новых, совсем молодых. Новая поэзия, подтверждая тезис Ж. Деррида, децентрализуется. В Пермском треугольнике, куда постоянно наведываются НЛО, лидер поэтической группы «Политбюро» Ю. Беликов пишет стихи, соединяя их с изображением тарелок. В Перми они являются в виде гантелей.

Всего у меня более полусотни видеом — именные портреты Гумилева, Блока, Бунина, А. Меня и наших современников. На вкладке «Огонька» демонстрировалось с десятков из них.

Этой подмосковной осенью узнал я о смерти Леонарда Бернстайна. Темнело. В ветвях шумел ветер. На первом снегу шоссе лежали облетевшие семена осенних лип. Каждое из них своей бусинкой и стерженьком с продольным листиком походило на нотный знак — «одну восьмую». Ноты порхали в воздухе, слетая с деревьев.

Друзья звали его Ленни. Прочитав «Ров», композитор прислал мне телеграмму с приглашением приехать поговорить об опере, он решил написать ее на сюжет «Рва» с темами Фауста, геноцида, триллера и Вечности. Меня мучает, что я так и не окончил либретто. За несколько месяцев до смерти Ленни прислал мне партитуру и текст своего «Кадиша» с просьбой перевести на русский для его гастролей, предстоящих в Москве. Увы, вместо всего этого пришлось лепить реквием по нему из пепла «Вестсайдской истории». Эту мою композицию проецировали на стену нью-йоркского собора во время поминания Бернстайна. Переделкинские нотные семена парили в воздухе.

Все эти видеомы демонстрировались во время курса лекций, посвященного русской поэзии XX века, который я прочел этой осенью в Пенсильванском университете. Вместо всего трехмесячного семестра пришлось сжать курс до двух месяцев. Когда дома худо — надо быть дома.

Американская университетская система вызывает восхищение. Обрадовали интерес студентов к нашей поэзии, их глубина, опровергающая стереотип о бездуховности американской молодежи. Рад был встретить понимание такого знатока нашей словесности, как профессор Элиот Моссман, редактор «Славик ревью».

Во дворе университета зеленеет бронза нашего скульптора Архипенки. Филадельфия живописна. Не случайно в ней поселились «Купальщицы» Сезанна и Марсель Дюшам. Не случайно именно здесь Бетси Росс сшила супрематизм американского флага. 25 ноября довелось быть на освящении отреставрированного кафедрального храма на 5-й стрит. Воздвигнут он в честь св. Андрея в 1887 г. одновременно с постройкой на филадельфийской верфи двух российских судов. Один из них был легендарным «Варягом». Государь император пожаловал храму несколько тысяч из своей казны. Тема русских переселенцев на американский материк волнует меня еще с «Юноны» и «Авось». Душа приходит — о. Марк Шин, по рождению бельгиец, духовный сын русской культуры.

Мне рассказывали, как В. Аксенов в своих лекциях разбирает сейчас с американскими студентами мой видеом «тьматьмать», расположенный по кругу. Этот первый мой видеом был опубликован в альманахе «Метрополь». Полуграмотные инквизиторы на судилище в Московском секретариате обнаружили в нем крамолу — ага! — «Родина-мать есть тьма» плюс матерщина. От меня требовали письменного или устного отречения, раскаяния. Когда не удалось, написали в личное дело официальную Характеристику, пять лет следовавшую за мной по пятам: «А. А. Вознесенский проявил политическую незрелость, опубликовав стихи в провокационном альманахе «Метрополь», который издан в США и используется в антисоветской пропаганде». (Грозные подписи Секретарей Правления и Парткома, Круглая печать.)

В те дни я познакомился с молодыми В. Ерофеевым и Е. Поповым, отношения с которыми радуют и сегодня среди пучины писательских противостояний. Помню, как В. Аксенов, с которым накрепко соединил нас крик Главы Хрущева в Голубом зале Кремля, пригласил меня дать стихи в независимый альманах. Увы, тогда тьма победила. Почти все участники «Метрополя», и составители, и авторы, жестоко страдали. Одни вынуждены были уехать, других годами унижали здесь. Ерофееву и Попову подло отменили членство в Союзе писателей. В знак протеста В. Аксенов, С. И. Липкин, И. Лиснянская вышли из СП. Наконец переиздание «Метрополя» выходит у нас в стране.

За рубежом обострено чувство языка, ритмики. В наименовании Университета Пенсильвании мне послышалась кольцовская мелодия, а то и мелодия «Очи черные», доносящаяся из русского ресторана. Хотелось, чтобы языки аукались.

Кроме знаковых композиций, писались и традиционные стихи. Их в декабре среди цикла опубликовала газета «Новое русское слово».

Молюсь именам, зернам культуры и гармонии. Думаю, есть внутренний смысл в именах и Латвии, и Монголии. Он открывается латвийскому и монгольскому поэту. Он будет общечеловеческим. Приведу неопубликованные строки Флоренского, вникавшего в имена и религии многих народов: «Одни исповедания живут на полной свободе, другие в огороженных парках, третьи в огороженных дворцах, четвертые в узких башнях, пятые в юртах... но небо, от которого получают свет они, — не одинаковое, а *одно* небо».

Лишь духовная культура может сейчас соединить людей.

## СЛОВО — ЭТО БОГ

Случайно ли, что 15 января 91 года нашего взбесившегося перед своей кончиной века — эта дамоклова дата начала войны на Ближнем Востоке — совпадает со столетним юбилеем Мандельштама, хрупкого, как все драгоценное, великомученика русской поэзии?

Век мой, зверь мой, кто сумеет  
Заглянуть в твои зрачки  
И свою кровью склеит  
Двух столетий позвонки?

В морозной хрустальной этой строке вмерзли живые крик и дыхание.

Почему наша страна и век, дав чудовищные преступления тоталитаризма, дали в том же столетии высочайший вздох поэзии и людской тяги к ней? Лишь сейчас, сто лет спустя, понимаешь, почему поэт, отрешаясь от всесоюзного преступного помешательства, выбрал своим излюбленным образом крохотную летучую, золотую с траурными колечками осу — дикую волшебную осу-отщепенку?

Почему он написал, чуя гибель, в одном из своих стихов 37-го года:

Вооруженный зреньем узких ос,  
Сосущих ось земную, ось земную...

Акмеистический образ? Не только.

Вслушайтесь, поймите — «ос...» «ос», — это из наступающей лагерной тьмы, из небытия общей ямы доносится до нас имя поэта, чтобы не забыли. Чтобы остаться в нас, чтобы через столетие мы повторили: «Осип, Осип!»

Эти осы мучительно звенят по всем его строкам: «Оссиан», «острог», «особь», — ос, ос, Осип... Как Татьяна писала на морозном стекле вензель «О», так и он бессознательно вписывает свои «О» в морозные узоры четверостиший.

Современники не поняли его зова. Самоуверенный невежда Павленко, которого следователь посадил в шкаф подслушивать допрос поэта, писал об этих стихах в доносе Ежову: «...он не поэт, а версификатор, холодный, головной составитель рифмованных произведений... Они (стихи. — А. В.) в большинстве своем холодны, мертвы, в них нет даже того самого главного, что, на мой взгляд, делает поэзию — нет темперамента, нет веры в свою страну... Не любя и не понимая их...» Конечно, мудрено расслышать голос поэта сквозь дверцу шкафа.

(К слову, не странно ли переименовывать сегодня в Москве улицу Чайковского, в то время как музей Пастернака продолжает находиться на... улице Павленко, того самого — из шкафа?! Несколько лет назад я тщетно писал об этом бреде, но, может быть, сейчас после публикации павленковских доносов пора опомниться и переименовать?)

Но вернемся к волшебным осам.

Медуницы и осы тяжелую розу сосут...  
И вчерашнее солнце на черных носилках несут,—

Это он о Пушкине писал, но собственная судьба его неосознанно уже шептала сквозь строки — «ос, ос, Осип...»

Нам остается только имя,  
Чудесный звук, на долгий срок...

Что означает имя для поэта? Да все означает. Повторяю, имя связано со святыми, со звездами, с гороскопом. В имени любого поэта как бы закодирована его поэтическая программа, судьба. Поняв это, мы по-новому прочитаем классиков.

А в час пирушки холостой...  
И пунша пламень голубой.

Вы слышите? «Пушкин, Пушкин!» — доносится к нам из тьмы времен. Ведь именно «Пушкиным», а не «Александром» или «Сашей» называли поэта и друзья и жена. В есенинском излюбленном белоснежном образе «береза» слышен щемящий шепот: «Сережа»... Рассыпанные буквы имени «Пастернак» собираются в кристаллы «терн», «крест», «страна», «рана»...

Об этом догадываются астрологи и ЭВМщики. Поэтов надо читать так, как астролог читает звезды. Есть такая наука — нумерология, восходящая к древнему Китаю, нашедшая тайную связь между именами, числами дня, месяца и года рождения, судьбой и менталитетом.

«Человеческая самость, кто ты есть — исходит из вашего имени. Она может быть выражена в том, что заключено в имени. Важно понять смысл. Это психологическая наклейка на «личности» — читаем мы в книге «Числа как символ для самораскрытия» Ричарда Вогана. Автор создает систему зависимости судьбы, имени и чисел рождения. Жаль, автор не знал Хлебникова. Число магично. Мандельштам мог бы сказать об авторе: «Не его вина, что он слышал музыку алгебры той же силы, как и живую гармонию».

Мы попробовали подставить числовые данные О. Э. Мандельштама в нумерологическую систему — получилась поразительно точная картина ракововидной психологии, неконтактной со средой и звездной предначеченностью. Но вернемся к осам поэзии.

Вот лучшая книга поэта «Tristia», через Овидия предчувствующая собственную ссылку:

Кто может знать при слове расставанье —  
Какая нам разлука предстоит?..  
Уже босая Делия летит!

И опять, ныне уже из имени любовницы Тиберия, доносится к нам еле слышный, далекий-далекий смазанный отзвук имени поэта: «Ос...,» «дель»... — Осип Мандельштам.

Оса Культуры не была безобидной. Она жалила отчаянно и героически. Так случилось, что самый герметичный из поэтов, самый хрупкий, болезненно-ранимый, обидчивый лакомка, капризный, отнюдь не богатырь, не Рэмбо, написал единственное в российской поэзии открытое стихотворение против Сталина, за которое и заплатил жизнью. Он был единственным действительно виновным против тоталитаризма, среди миллионов наивных невинных жертв.

И написав это самоубийственное стихотворение, он последним словом последней строки дерзко расписался, чтобы все знали не только о ком эти стихи, но и чьи: кто автор этого стихотворения «И широкая грудь осетина». Несмотря на свою фамилию, близкую к распространенному осетинскому «Джугаев», Сталин не был осетином, но эта заключительная рифма звучит, как подпись поэта «Осип» — подпись под смертельным приговором себе. Оборванное «ос»...

Крохотная фигурка Мандельштама стала модулем человеческой личности в безликое время.

Мастер речи, оса Культуры, он любил слова «воск», «соты». Оса его обручала. Думаю, и для близких поэта она была внутренним заговорщическим кодом.

Я сошла с ума, о мальчик странный,  
В среду, в три часа!  
Уколола палец безымянный  
Мне звенящая оса.

Я ее нечаянно прижала,  
И, казалось, умерла она.  
Но конец отравленного жала  
Был острей веретена.

О тебе ли я заплачу, странном,  
Улыбнется ль мне твое лицо?  
Посмотри! На пальце безымянном  
Так красиво гладкое кольцо.

Это ахматовское стихотворение помечено 1911 годом. 1911-й — год знакомства Ахматовой и Мандельштама. Как и в черном кольце, в болевом кольце — предчувствие. Этой болью Ахматова была окольцована на всю жизнь.

Какая российская была его оса!

В ней «желтизна правительственных зданий» Петербурга «и пятиглавые московские соборы с их итальянского и русскою душой», которые они с молодой Цветаевой влюбленно посещали, путешествуя по

русской истории «на розвальнях, уложенных соломой». Как жалки нынешние попытки отгородить поэта от русской культуры и истории за черту оседлости! Как точно вслед за Блоком подметил плоть русского языка — «русский язык стал именно звучащей и говорящей плотью». Он почувствовал «эллинистическую природу русского языка», открытость нашей культуры другим. И другие культуры принимают поэта как своего. Как прекрасно недавно издали эстонцы том поэта на русском, опередив многих россиян!

Есть прекрасные сегодняшние работы и М. Мейлаха, и Б. Сарнова, но лучшей нынешней книгой, посвященной поэту, является, конечно, напряженно-духовная книга Н. Струве, опять, к сожалению, вышедшая не у нас в отечестве.

Ныне пошла мода осовременивать классиков — иные Есенина готовы записать в общество «Память», Мандельштама — чуть ли не в «белую гвардию». Очень точные и глубокие воспоминания С. Липкина — он дает образ живого поэта, с его болью, наивом, иллюзиями. Не случайно именно Б. Пастернак и О. Мандельштам встретились у гроба Ленина.

Но вернемся к словарю поэта. Его великая сотовая проза написана, собрана по слову, каждое слово — золотая взятка.

Можно написать исследования об архитектурности поэта — мастера с хищным глазомером. Прочитируем заключительные абзацы его программной статьи о природе слова.

«На место романтика, идеалиста, аристократического мечтателя о чистом символе, об отвлеченной эстетике слова, на место символизма, футуризма и имажинизма пришла живая поэзия слова — предмета, и ее творец не идеалист — мечтатель Моцарт, а суровый и строгий ремесленник мастер Сальери, протягивающий руку мастеру вещей и материальных ценностей, строителю и производителю вещественного мира».

Сталин, спросив Пастернака о Мандельштаме: «Он ведь мастер, мастер!», желая поразить меткостью суждения, конечно, был хорошо информирован. Как и в программной статье поэта, слово «мастер» повторено дважды. Вряд ли вождь читал статью, но советники его, безусловно, читали. (Тот же Агранов, подписавший ордер на арест поэта, завсегда литературных салонов, мог подсказать эту самохарактеристику «мастер».)

Этот разговор Сатаны с поэтом широко обсуждался в московской среде, он, вероятно, и дал импульс М. Булгакову к «Мастеру и Маргарите», к линии Мастера и Воланда.

Политических вождей XX века влекла поэзия. Бухарин был поклонником Пастернака, полемизировал печатно с Троцким, который был поклонником Есенина. Сталин взял себе Маяковского. И только Мандельштаму не нашлось мецената. Он был чужд властям. И даже когда поэт, сломленный, пытался, подобно своим ослепленным братьям, петь одсану и оды, сквозь ослабевшие строки его, как кровь, проступало то царевбийственное стихотворение. Впрочем, отмеченный оспинами

тиран, может быть, инстинктивно по-своему любил его больше других — поэтому и убил. Не случайно и противостояние имен поэта и тирана — «Осип» — «Иосиф».

И так ли герметичен этот русский интеллигент? Вот его признание следователю: «В моем пасквиле я пошел по пути, ставшему традиционным в старой русской литературе... — «страна и властелин». В 1930 году в моем политическом и социальном самочувствии наступает большая депрессия. Социальной подоплекой этой депрессии является ликвидация кулачества как класса. Мое восприятие этого процесса выражено в моем стихотворении «Холодная весна». «Холодная весна. Голодный Старый Крым». Как обостренно чувствовал боль страны этот петербуржец, горожанин, чтобы сказать то, чего не смели сказать классики советской крестьянской литературы, в романах и поэмах славящие колхозы!

И опять взглянем на последнее слово этого стихотворения «Кольцо». Он опять поставил «о» своего имени, подписался. Да и осужден он был Особым совещанием при НКВД. Не случайно тот же самый Агранов вел следствие, был мучителем Чаянова, мыслителя наших аграриев. Те же руки убивали поэтов и природу.

Поэт не «учительствовал» в жизни, самой строфой он давал пример гармонии, он строил, этим противостоял Системе Небытия, зодчеству массовых убийств. И божественные свои кристаллы гармонии он создавал среди голода, разрухи, братоубийственной истерии, керосиновых коптилок и распада — не чета нашим, сегодняшним. Распад дисциплины стиха, глухость к гармонии, лень — почему сегодняшняя поэзия себе это позволяет?

Зрительность его звука предвосхитила весь XX век. Да и сам образ осы — как снайперски названа в русском языке «О-с-а» — так и видишь золотые и черные колючки «о», «с», сцепленные в пружинки, как бы написанные на воздухе.

Бессмертно летит волшебная оса Осипа Мандельштама.

Великие стихи подобны брускам древесного угля. Они впитывают в себя влагу не только прошлых культур, но и смысл предстоящих лет и событий.

В своем пассаже о глоссолалии, одновременно звучащем хоре языков, поэт предсказал Ролана Барта с его «гулом языка». Правда, судьба Мандельштама, как и других российских авторов, не вмещается в учение постструктурализма «о смерти автора». Интертекст русских поэтов кровью сочится!

Несмотря на погромные окрики, новая наша стихотворная формация частенько летает за медом к Мандельштаму. Это отраднo. Я говорю не только о петербуржцах, но вот вернувшийся из армии москвич Д. Радышевский, описывая дембеля, роднит ритм мандельштамовского «Петербурга» с роком. Еще немного и дембель превратится в до-бемоль. И европейцы, и пермские «Дети стронция», и барнаульская группа тянут к образу поэта Культуры.

Современникам, освоившим прогнозы ЭВМ, не мешает осознать и вещей код, текст и судьбу ОЭМ — Осипа Эмильевича Мандельштама.

«Слово — плоть и хлеб. Оно разделяет участь хлеба и плоти: страдание. Люди голодны. Еще голоднее государство. Но есть нечто более голодное: время». У нас был шанс построить государство Культуры, увы, мы все больше и больше удаляемся от этой возможности.

В чем спасение от центробежного воя свихнувшегося века? Услышим шепот поэта: в Слове и Культуре.

Чтобы вырвать век из плена,  
Чтобы новый мир начать,  
Узловатых дней колена  
Нужно флейтою связать.

И эта нота флейты из позвонков столетий звучит страшным дуэтом с флейтой-позвоночником другого поэта начала века, трагического самоубийцы, который сам до нынешних дозволенных проклятий свершил самосуд над собою. И дуэт этих двух флейт оплакивает финал столетия.

Страшно начинался 1991 год, ожидавший стать мандельштамовским, — кровь, кровь, лязг танков на улицах Вильнюса.

Шок. Скорбь. Стыд.

Но забыли мы, что осиянно  
Только слово средь земных тревог.  
И в Евангелии от Иоанна  
Сказано, что слово это — Бог.

На этом прервем разговор о поэзии.



## СОДЕРЖАНИЕ

Распятие . . . . .	3
А. Мень . . . . .	6
Юз . . . . .	7
Дефицит . . . . .	8
Цыгане социализма . . . . .	9
Пять капель неба . . . . .	10
Песнь Пенсильванская . . . . .	12
Что будет? . . . . .	14
Русские westники . . . . .	14
В Нью-йоркском ресторане . . . . .	15
Ипатьевская баллада . . . . .	16
«Над темной молчаливою державой...» . . . . .	16
«Ты мне никогда не снишься...» . . . . .	17
Ее повесть . . . . .	17
Ответ на записку . . . . .	18
Литовские мотивы . . . . .	18
Ах, министр, не пестицидьте! . . . . .	19
«Абхазия — как Ориноко...» . . . . .	19
«С иными мирами связываая...» . . . . .	20
Реквием оптимистический . . . . .	20
Реплика . . . . .	22
Васильки Шагала . . . . .	22
Имена . . . . .	24
«Ты молилась ли на ночь, береза?..» . . . . .	25
«Здесь живу, где подыхает живность...» . . . . .	25
Кремлевский голубой зал . . . . .	26
Россія — Poesia . . . . .	35
Слово — это Бог . . . . .	41

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Андрей Андреевич

РОССИЯ

POESIA

Редактор Л. М. Наточанная

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

---

Сдано в набор 13.05.91. Подписано к печати 17.06.91.

Формат  $70 \times 108^{1/32}$ . Бумага газетная.

Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать.

Усл. печ. л. 2,10. Усл. кр.-отг. 2,28. Уч.-изд. л. 2,69.

Тираж 90000 экз. Зак. № 497. Цена 20 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография  
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда».

125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.



**В СЕРИИ «БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»  
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 1991 ГОДА  
ВЫШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:**

- О. МАНДЕЛЬШТАМ «Четвертая проза»;  
Е. РЕЙН «Непоправимый день»;  
В. НИКОЛАЕВ «Горсовет по-американски»;  
С. ЛИПКИН «Угль, пылающий огнем»;  
Г. АКСЕНОВА «Театр на Таганке: 68-й и другие годы»;  
И. ЭРЕНБУРГ «Неправдоподобные истории»;  
Л. ЧУКОВСКАЯ «Сверстнику»;  
Р. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ «Бессонница»;  
К. БАЛЬМОНТ «Где мой дом?»;  
Ю. КАРАБЧИЕВСКИЙ «Незабвенный Мишуня»;  
В. РЕЦЕПТЕР «До третьего звонка»;  
Б. ЗАЙЦЕВ «Братья-писатели»;  
М. КВЛИВИДЗЕ «Продолжение следует»;  
Г. БЕЛАЯ «Затонувшая Атлантида»;  
А. АНАНЬЕВ «Конец причиныны»;  
Б. ПЕТРОВСКИЙ «Два человека — одно сердце»;  
В. СЕЛЮНИН «Все у нас получится»;  
Н. ЗАБОЛОЦКИЙ «История моего заключения»;  
В. КОСТИКОВ «Сумерки свободы»;  
Е. ДОБРОВОЛЬСКИЙ «Заполярные ангелы»;  
А. ПЬЯНОВ «Утренние птицы»;  
Г. РОЖНОВ «Всесоюзный розыск»;  
А. БЕЛЫЙ «Первое свидание»;  
В. КОРАЛЛИ «Куплетист из Одессы»;  
Б. ОКУДЖАВА «Приключения секретного баптиста»;  
С. АНТОНОВ «Петрович».